

П о л Б л о к к е р

СТАЛКИВАЯСЬ С МОДЕРНИЗАЦИЕЙ:
ОТКРЫТОСТЬ И ЗАКРЫТОСТЬ ДРУГОЙ ЕВРОПЫ¹

Наша работа представляет собой попытку осмыслить в категориях «открытости» и «закрытости» историю и современные события в регионе Центральной и Восточной Европы. Степень его модернизации часто становилась предметом обоснованных сомнений. Некоторые исследователи говорят, что решающим в регионе было влияние западного модерна (в облике европейского Просвещения) и модернизация там весьма часто проводилась именно в «вестернизирующем» смысле слова. При таком рассмотрении все внимание оказывается направлено на открывание центральных и восточноевропейских обществ, вызванное прямым усвоением западного (европейского) представления о том, каким должен быть современный социум. Самая известная (но не единственная) попытка радикальной модернизации началась с перемен 1989 года. Но, с точки зрения других исследователей, опыт Центральной и Восточной Европы весьма специфичен и представляет собой либо отклонение от установленных на Западе норм, либо ряд систематических уступок давлению модернизации при сохранении глубинных старых привычек. Приоритетом для региона является национальная обособленность, самобытность, на практике оборачивающаяся тоталитарными устремлениями. Особенно часто такие культурные установки сказываются в период демократизации, которая в этой местности воспринимается порой как источник новых бедствий и унижений. Если в первом случае модернность и открытость оказываются фактором внешнего влияния на Центральную и Восточную Европу, то во втором подобный «восточный» тип модерна толкуется как бесплодный: он не совершенствует это общество и даже не утверждает его исключительность, но лишь искажает его конфигурацию. Адаптация модерна и современных институтов в такой версии радикализует социальные тенденции, ведущие к закрытости. Конечно, и те и другие исследователи в чем-то правы, но я попытаюсь доказать, что, если совместить эти два подхода, на выходе получится более верная картина реализации и содержательного переосмысления модерна в странах этого ареала. Опыт модернизации Центральной и Восточной Европы лучше понимать, по меткому выражению Джоана Арнасона, как одну из «альтернативных модернизаций». Также в ходе исследования необходимо учитывать и различия в рамках самого этого географического локуса. Опыт социального развития после 1989 года — это не столько долгожданное «чаемое» возвращение к Европе и установление рабочего режима «открытого» общества, сколько начало новой дифференциации опытов открытости и закрытости и рост напряжения между этими двумя взаимоисключающими стремлениями. В нашей работе мы обсудим сложившиеся образы «открытости» и «закрытости» и взаимодействие самобытности и открытости («европейскости») в ходе формирования

1 Проведение этого исследования было бы невозможно без поддержки в виде постдокторской стипендии, выделенной мне автономной провинцией Тренто для работы в течение трех лет на социологическом отделении университета Тренто, Италия.

идентичности в этом регионе, в связи с реализацией модернизационных проектов. Для рассмотрения были выбраны такие страны, как Чехословакия, Венгрия, Польша и Румыния.

Реализация западного проекта модернизации в восточной части Европы за последние два века понималась обычно как сооружение «каналов открытости» в периферийном и досовременном, по сути, регионе, где господствовали традиционализм и нерелексивные, закрытые формы самосознания. Именно с этим связывали тот простой факт (о котором пришлось много говорить после 1989 года), что национализм здесь — в отличие от западноевропейского пути развития — трансформировался в особом, традиционалистском, изоляционистском и преимущественно этнокультурном ключе (ср. Dobrescu 2003). Мы попытаемся доказать, что для рассматриваемого региона противопоставление модернизма и открытости традиционализму и закрытости само по себе проблематично и поэтому история модернизации в этом ареале должна быть осмыслена заново: не как привнесение извне веяний прогресса, но как адаптация к местным обстоятельствам приемов социального развития. В ходе этой адаптации открылась множественность политических проектов и вариантов модернизации, подразумевающих как открытость, так и закрытость общества. Главный наш тезис — необходимо разработать более широкое видение модернизации, позволяющее характеризовать «множественную [multiple] модернизацию» Центральной и Восточной Европы. В любом случае, даже если нельзя доказать наличие «специфического варианта» модернизации в этом регионе, вполне можно рассуждать о совмещении разноуровневых моделей модернизации. Социальная, политическая и культурная история региона показала большой разброс вариантов прогресса, и нам следует непременно учитывать множество исторических проектов модернизации, в которых тем не менее мы обнаружим и общие черты. Итак, и формы открытости, и формы закрытости — это часть большой драмы здешней модернизации. Как мы увидим, в Центральной и Восточной Европе с самого начала наблюдалось *несколько* соперничающих и вполне целесообразных проектов модернизации.

Как доказал Джоан Арнасон в своем анализе множественных модерностей и моделей модернизации, следует проводить различие между теми обществами, которые пережили модернизацию в силу «внутренней логики» своего существования, и теми, которые «просто попали в орбиту геополитических и исторических обстоятельств» (Arnason 2005: 436). Современные траектории развития обществ Центральной и Восточной Европы — это плод скорее новейшей эволюции, чем былого опыта. Конечно, это не означает, что мы напрочь отбрасываем значение длительного самобытного развития для многих частных аспектов модернизации. Арнасон также предполагает, что анализ множественной модернизации требует сопоставлять явления не только в синхронном, но и в диахронном режиме. Другими словами, модернизация в этом ареале представляет собой цепь перемен и возникновения новых конфигураций. В противоположность западной модерности, где наблюдается непосредственный переход от былой либеральной формы современности к новейшей ее социально организованной стадии (Wagner 1994), в случае Центральной и Восточной Европы корректнее говорить о модернизации прерывистой, о свертывании ряда модернизационных подвижек и о директивной, навязываемой (imposed) модернизации. Различие между «либеральной» и «организованной» фаза-

ми современного развития нам все равно понадобится, но только как эвристический механизм, позволяющий разглядеть некоторые особенности прерывистой «альтернативной модернизации». Либеральная современность связана прежде всего с требованиями открытости и свободы, а современность организованная (выступающая в разных оболочках) — с целым спектром мер, включающих в себя также закрытость, контроль и изоляцию. Но конечно, эта современность никогда не перерастает в закрытость самого общества в форме тоталитарной или авторитарной структуры распределения власти (как это было при фашистской или коммунистической «альтернативной модернизации»). Напротив, формы «организованной современности» делаются вполне понятными как продолжение логики эмансипации и либерализации (показательный пример — модернизация в социал-демократическом духе), хотя представления об эмансипации, пусть и весьма трансформированные, были немаловажны и для коммунистических и фашистских режимов.

Траектории модернизации в Центральной и Восточной Европе прежде всего отмечены зависимостью от внешнего воздействия и порой явным воспроизведением внешних стимулов (ср.: Arnason 2005: 435). В ходе такой модернизации извне некоторые общества выработали различные формы сингуляризации «проекта современности» (Blokker & Delanty, в печати): сюда относятся и специфические пути выхода из состава империй, и весьма своеобразные принципы национально-государственного строительства. Эти новые государства строились на материале самобытных традиций, а национальная идентификация была связана с более общими цивилизационными установками (главной из них был миф о Центральной Европе как о заведомо надгосударственном и отвечающем интересам каждой из этих наций образовании). Благодаря этому национализм, как и всякая борьба за цивилизационную идентичность в этом регионе, мог с равным успехом подразумевать как требования открытости, универсализма и плюрализма, так и постулаты закрытости, исключительности и самобытности. Это еще раз доказывает, что между партикуляризмом и закрытостью, как и между универсализмом и открытостью, не существует прямой связи. Традиции обособления не были отброшены даже при коммунистической власти — они подавлялись и цензурировались, но иногда воспроизводились и даже перенимались [у соседей] в форме местных версий социализма. Традиции национализма явно давали о себе знать и в диссидентском движении; а в случае Польши видно, как антикоммунистические силы, сыгравшее важнейшую роль в модернизации страны после 1989 года, руководствовались и идеалом открытости, и представлениями о закрытости, самодостаточности своей страны (ср.: Kubik 2003).

Понять крайние формы закрытости можно, только соотнеся их с идеей «альтернативной модернизации», они складывались по логике якобинства и тотализировали общественный выбор (ср.: Eisenstadt 1999). Такая закрытость складывалась как реакция на крайний релятивизм, материализм и расшатывание всех основ в западном проекте модернизации: взамен предлагались «незамутненный» взгляд на вещи и «самостоятельный» путь развития, который в глазах приверженцев мог выглядеть и как самая совершенная форма модернизации. Замыслы сторонников закрытости обретали свои очертания в рамках современной политической образности — в частности, в форме романтической критики индивидуализма и рационализма или в пафосе революционного вызова, — с будущим связывалась практическая

реализация идеального общества, которое будет полностью соответствовать прозрениям людей прошлого. Закрытость могла принимать форму боязливого замыкания общества в себе, тотализующего контроль над политикой, знанием и повседневной жизнью, но также могла проецироваться на все человечество как проект альтернативной модернизации, для реализации которого, может быть, придется прибегнуть к империалистической тактике. Самой значимой и долгосрочной попыткой такой всемирной модернизации был, конечно, коммунизм.

Если рассуждать последовательно, следует дифференцировать реализовавшиеся в общественной жизни формы закрытости. Прежде всего, требуется развести идеологическую, культурную, политическую и экономическую «формы» обособленности. Идеологическая обособленность обусловлена абсолютистским и эссенциалистским пониманием политики — она признает только один вид дискурса, полагая его подлинным выражением нужд общества. Этого рода идеологическая закрытость была важным измерением бытования коммунизма в рассматриваемых нами обществах, где отвергалось любое отступление от единственно верного марксистско-ленинского учения. Закрытость культуры — это прямое выражение нетерпимости к внешним влияниям, за которыми как бы кроется опасность западной модернизации, демократической ломки всех устоев и вторжение капитализма в устоявшийся обиход. Закрытая культура характеризует себя как на всех уровнях самобытная, но при этом гомогенная и полностью репрезентируемая в любом члене данного общества. Политическая закрытость есть вмешательство в политический процесс с целью нового упорядочения политических агентов. При радикальных формах политической закрытости допустимым оказывается политический агент только одного рода — именно он прославляется как благодетельный источник развития, тогда как оппозиция и все несогласные воспринимаются как угроза системе (на них навешивают ярлык «врагов народа»). Считается, что политическая власть нуждается в централизации, а для этого она должна быть сконцентрирована в руках просвещенного меньшинства, возглавляемого верховным лидером. Политическая закрытость полагает вредным для себя плюрализм, а политический конфликт — разрушительным. А закрытость экономики всегда принимает форму автаркии (самодостаточности) или автономного существования нации (можно вспомнить лозунг неоллиберальной партии в Румынии 1920-х годов: *prin noi înșine* — для самих себя). Экономическая закрытость должна гарантировать справедливое удовлетворение потребностей и контроль нации над экономическим самообеспечением.

Вопреки позиции исторического детерминизма можно доказать, что традиции закрытости в Центральной и Восточной Европе последних двух веков меньше всего связаны с «недостаточным усвоением модерности» или «неспособностью воплотить у себя» принципы и структуры существования современного Запада (ср.: Sztompka 1993, относительно идеи «отсутствия способностей к цивилизации»). Напротив, эти традиции следуют объяснять наличием противоречивых тенденций, собственных ревизий и интерпретаций различных путей к современности. Конечно, это не означает, что в этом ареале не усваивались встроенные в западную историю образы, символы и традиции; но нельзя не заметить, что весь этот воображаемый инструментарий использовался своеобразно, приспособившись к совсем другим нуждам и служа исключительно местному самосознанию.

Точно так же, как мы провели различие между «закрытостями», нужно отметить и существенную дифференциацию вариантов открытости². Идеологическая открытость подразумевает релятивистское, внеинституциональное и сознающее свои ограничения представление о том, что такое общее благо (такое понимание тесно связано с политическим либерализмом, но к нему не сводится). Упор при этом делается на публичное отправление политики, а в некоторых случаях утверждается принцип постоянного диалогического взаимодействия общественных страт. В духовной сфере открытость жидется на признании плюралистических истоков любой культурной идентичности. Она полагает мультикультурный характер современной жизни и требует обеспечить сосуществование различных традиционных ценностей. В политике открытость означает истолкование политического могущества и суверенитета в противоположном смысле, чем при авторитарной централизации. А в экономике открытость — это свободная торговля и прозрачность всех внутренних экономических связей. Девизом свободной экономики является «соревнование», в противоположность закрытому «самообеспечению».

Ниже я попытаюсь кратко (и — неизбежно — далеко не полно) обозреть четыре важных случая успешного «взаимодействия» модернизации с местной средой в Центральной и Восточной Европе с начала XIX века. Цель этого рассмотрения — показать различную природу этих локальных случаев «столкновений» с модернизацией и прерывистость всех этих процессов, в ходе которых выявлялись и тенденции к открытости, и стремления к закрыванию. Изучаемые процессы показывают, насколько неверно изображать опыт этого региона как простую совокупность отдельных попыток проведения в жизнь проектов закрытой, контролируемой, авторитарной и централизованной модернизации.

ПЕРВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ С МОДЕРНИЗАЦИЕЙ: ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВНЕШНЕГО ГНЕТА И СТРОИТЕЛЬСТВО НАЦИЙ

Встреча обществ Центральной и Восточной Европы с фактом западной модернизации и либерализации всякий раз происходила по своим законам, но в целом можно сказать, что каждая из таких встреч порождала глубокие изменения в политической, экономической и культурной области. В ряде конкретных случаев, например в Румынии, изменения проходили постепенно: этому способствовали и тогдашняя геополитическая ситуация, и решающая роль в них малых групп «просвещенных» элит. Познакомившись с идейной атмосферой Западной Европы, румынские интеллектуалы заимствовали дискурс либерализма и раннего национализма (в терминах «самоопределения» и «создания независимого государства»). Заемные идеи сливались с местными порывами к более совершенному представлению о себе — в поисках обозначения того, кто мы такие как «народ» и «нация».

² Другое, хотя в чем-то пересекающееся с нашим, понимание различных видов открытости было предложено Аланом Кинаном. Он различает открытость: как (1) инклюзивную генерализацию, (2) постановку под вопрос, (3) незавершенность и (4) самоограничение (Keenan 2003).

Много раз отмечалось, что «пересадка» западных идей на востоке³ неизбежно приводила к трансформации самих этих идей. В новом социальном контексте западные принципы ставились на службу массовым освободительным движениям и знаменовали одно — необходимость сбросить инациональное иго. Прежде всего, следует отметить либеральное по духу пашоптистское движение в Румынии и националистическое движение в Венгрии под руководством Лайоша Кошута. Программы этих движений не имели почти ничего общего с эмансипацией буржуазии от пут абсолютистского государства. Для нас главное, что некоторые исходные установки на освобождение личности или созидание гражданского общества были по пути на восток Европы утрачены или возродились там на других основаниях (ср.: Ludwikowski 1981; Szacki 1995). Таким образом, запущенная на Западе модернизация с самого начала преломилась на востоке через призму националистического коллективизма.

С учетом сказанного можно заключить, с некоторой долей упрощения, что первое столкновение с модернизацией конца XVIII — начала XIX века («либеральной модернизацией», по терминологии Петера Вагнера) было обусловлено тем, что важные аспекты политической, идеологической или культурной открытости были «потеряны при переводе» или облегчены и адаптированы для местных нужд. Или, если посмотреть на дело с другой стороны, нужно сказать, что местных интеллектуалов больше привлекал романтический национализм, чем либеральный индивидуализм и легализм. Целью революций 1848 года в этом регионе было не освобождение буржуазии от ограничений абсолютистского государства, но освобождение нации, то есть прекращение ее подчинения чужим порядкам. Нужно было прежде всего освободить нацию от повиновения Австро-Венгерской, Османской или Российской империи, а затем создать гомогенное национальное государство, не думая о противоречиях между буржуазией и другими социальными слоями. Именно поэтому проповедь национальной исключительности и закрытости, а не признание ценностей политического национализма и открытости, отметила это первое столкновение Центральной и Восточной Европы с модерностью.

Конечно, рассматривая этот вопрос, неверно предполагать, что модернизация в Центральной и Восточной Европе происходила синхронно, а национализм как движение был чем-то гомогенным (Dobrescu 2003). Напротив, следует учитывать, что каждый регион внес свой вклад в усиление модернизации и рост национализма во всей Европе (Walicki 1982). Но нас сейчас интересует другое: не специфика локальных версий, но неразрывное соединение в этом первом пришествии либеральной модернизации идей открытости и принципов закрытости. Встреча с Западом позволила воспринять идеи, привнесшие в традиционное общество открытость, благодаря широкой рецепции таких представлений, как прогресс, рационализм, терпимость и демократия. Но одновременно местные интеллектуалы познакомились с идеями, которые следует скорее отождествить с ранним романтизмом, чем с либерализмом. Усвоив эти идеи, они стали полагать основой исторического сознания «самопонимание», самоидентификацию. В результате импульсы традиционного общества к открытости обернулись, напротив, замыканием общества вокруг идеи национального сообщества.

3 Критику такого одностороннего понимания передачи импульсов модернизации см.: Todorova 2005.

Описать этот процесс возможно, например, как своего рода «партикуляризацию» универсального измерения идеи.

Во многих (хотя и не во всех) случаях борьба за политическую и культурную автономию приводила к пониманию идентичности главным образом как *национальной*. Эта идентичность, поставленная на первое место, становилась символической властью национального большинства, что приводило к гомогенизации национального пространства, искони населенного единственным народом, со своей обособленной культурой, «национальной спецификой» и отдельным государством. Но конечно, такая реконструкция истории национальной идеологии — только первое приближение к несравненно более сложной борьбе за господство и влияние на умы различных версий коллективной идентичности. Поэтому для поставленных в статье целей гораздо оправданнее будет не противопоставлять опыт изучаемого нами региона обобщенно понятому «западному пути» либеральной модернизации, но, напротив, подчеркнуть множественность непредсказуемых столкновений местных обществ с модернизацией. Модернизация непременно подрывает всякую внешнюю или трансцендентальную общественную легитимацию (будь то религиозное понимание предназначения общества или натуралистическая трактовка социальной иерархии). Поэтому опыт модернизации в регионе нельзя сводить только к изобретению антилиберальной, закрытой и этнонационалистической версии модернизации. Напротив, вызов модерности обернулся тут множеством потрясений, разрушивших привычную общественную стабильность и поставивших перед населением прежде неведомые ему проблемы (ср.: Harsanyi, Kennedy 1995).

Такая многонаправленность и неустойчивость общественного развития, а вовсе не отпадение от либеральной модели в неподвижную закрытость, становится еще более очевидной, когда мы сравниваем различные случаи и прослеживаем открывшиеся перед разными народами возможности. Так, например, при складывании гражданской нации в Чехии XIX — начала XX века можно отметить пять разных моделей идентичности, часть которых (панавстрийская, пангерманская и панславянская) вовсе исключала создание национального государства (Arnason 2005: 437—438). В тогдашней судьбе Польши сказались не только влияние развивавшихся по собственным законам западноевропейских идей, определивших характер национальной идентичности, но и роль местных интеллектуалов, которые претворяли в жизнь программу романтического национализма (Walicki 1982). Более того, как убедительно показал Анджей Валицкий, польский национализм начала XIX века не похож на замкнутое этнонационалистическое стремление установить безраздельную власть национального большинства. Напротив, этот проект включал в себя и определенные славянофильские надежды, утверждал будущую многоэтническую нацию и подчеркивал ее универсальность и открытость миру (Walicki 1982: 2—5). В Венгрии самой влиятельной частью националистического движения была местная аристократия, гордая своей ролью в империи Габсбургов и предназначавшая столь же высокий удел своему краю. Этот национализм был инклюзивным, и даже ассимиляционным, и оставался таковым до начала Первой мировой войны (Barkey 2000). Совсем по-другому разворачивались события в Румынии: соперничество европеизирующего дискурса, местного дискурса «римскости» (возникшего в XVIII веке в Трансильвании, входившей в состав империи Габсбургов) и либерального движения содействовало становлению самобытного понимания румынской идентичности — Румыния объ-

являлась особым, ни на что не похожим миром, на культурную специфику которого повлияли наследие Востока, православие, а также деятельность славянских книжников (ср.: Blokker 2003; Blokker 2004).

Знание этих различных и конкурирующих моделей национальной идентичности не только помогает преодолеть упрощенное понимание национализмов в этом регионе как всего лишь простой реакции на западную модернизацию, как стремления замкнуться в своих узких и мелких вопросах (в противоположность западноевропейскому национализму с его пафосом гражданского достоинства)⁴. Обращение к плюрализму изначальных моделей позволяет понять, что победа изоляционистских взглядов над либеральными в 1920–1930-е годы, когда западнические проекты стали казаться не отвечающими нуждам дня, вовсе не была необходимым следствием местного национализма. Конечно, местные диктаторские режимы повсюду использовали националистическую риторику, но исходный взгляд на национальное сообщество в этих странах отличался куда большей открытостью.

ВТОРОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Если первый модернизационный толчок запустил неравномерный процесс становления нации и создания государства, то второе столкновение в 1920–1930-е годы обернулось уже движением обратным, интровертным — замыканием в себе от сокрушающего воздействия современности. Конечно, нужно учитывать, что мера закрытости была в разных странах различной и не везде достигла радикального обострения. Второе столкновение с модерностью весьма усилило нестабильность во всем регионе, полностью встроив его в цивилизационные рамки «периферии Западной Европы». В этом смысле внезапное сворачивание либеральной модернизации практически во всем регионе и стратегический курс на установление диктаторских режимов должны описываться как опыт «прерванной модерности», затронувший судьбу всего этого региона (Arnason 2003: 450). Вместе с тем мы можем увидеть и определенную преемственность между старым и новым национализмом. Прежде всего, старый национализм тоже считал государство главным агентом модернизации (политический плюрализм при этом ограничивался или подавлялся). Затем, в разработке нового, изоляционистского национализма принимали участие ведущие интеллектуалы страны (ср.: Arnason 2003; Schöpflin 1990; Szakolczai 2005).

«Прерванную модерность» с наибольшей отчетливостью можно увидеть в странах, которые, как «Великая» Румыния после 1918 года, прониклись чувством собственного могущества (в результате как территориальной экспансии, так и реализации надежд прежних поколений о соединении нации). Государственный энтузиазм быстро перерос в радикальный национализм и

4 Конечно, румынский национализм включал в себя и легалитский дискурс «естественного права», разработанный так называемой трансильванской школой, и дискурс, который восходил к французскому романтизму и отставив исторический и одновременно спиритуалистический взгляд на нацию (Dobrescu 2003: 395–398; ср.: Antoñi 2002). Тогда как польский национализм, по крайней мере всю первую половину XIX века, был национализмом чисто *политическим*, отмеченным явственными демократическими тенденциями (Walicki 1982: 4–5).

во вполне фашистский настрой ума; и новые проекты, эксплуатирующие национальное чувство, превращали мечту в руководство к действию. Напротив, Венгрия, разделенная по решению стран Антанты, стала быстро склоняться к этническому пониманию национализма. И в Румынии, и в Венгрии возникли собственные фашистские движения: румынская «Железная гвардия» и «Скрещенные стрелы» в Венгрии. Упования этих движений на новый расцвет своих наций рухнули в огне Второй мировой войны, и все названные страны на сходных условиях попали в орбиту влияния СССР.

Стремление к замкнутости как ответ на вызов современности между двумя мировыми войнами могло принимать различные обличья, всеми способами вытесняя дискурсы открытости, наднациональной гражданственности и плюрализма. В тогдашней культуре этих стран политические сообщества все чаще рассматривались как продукт «гомогенной» идентичности, а всякое общение и социальное взаимодействие считались эффективными, только если они происходили внутри развитого «национального» сообщества, чистого воплощения самодостаточного развития. Из этого сообщества в странах Центральной и Восточной Европы путем целого ряда запретительных мер исключались евреи и в качестве чужаков рассматривались немцы и другие национальные меньшинства. В политике на первый план вышли централизация власти, усиление элиты и ограничение плюрализма, что противопоставлялось программе коммунистических и социал-демократических движений, с которыми националисты связывали дестабилизацию (альтернатива такому национализму представлялась в виде демократических и популистских взглядов на объединение всего народа в общем деле). В области идеологии было создано множество дискурсов, склонявших общественное мнение в сторону тоталитаризма: под вопрос ставилось либеральное понимание самодостаточного и автономного индивида и утверждалось, что в современных условиях главной реальностью становится коллектив. Также речь шла о том, что демократия всегда становится источником компромиссов и поэтому создает многочисленные помехи новой устойчивой модернизации.

Конечно, эти местные движения сторонников закрытости нельзя изъять из контекста общеевропейских событий — системного кризиса либерализма, рационализма и гуманизма просвещенческого типа. Стремление к замкнутости и понимание интеллектуалами своей задачи как цивилизаторской, включающей в себя требование очищения и нового самоопределения нации⁵, было тесно связано с некоторыми перипетиями интеллектуальной и общественной жизни Западной Европы⁶. Но, как доказал Арпад Саколчאי, эти эксцессы позволили дать убедительный ответ на кризис западной цивилизации, показав на примере «истинно героиче-

5 К этому относится весьма сложный, но невероятно интересный случай румынского «поколения 1927 года», к которому относятся такие показательные фигуры, как Эмиль Чоран, Мирча Элиаде и Константин Нойка, а также Эжен Йонеско (см., например: Laignel-Lavastine 2008).

6 Это опять же хороший пример критики либеральной демократии с позиций «культуры» в межвоенной Румынии, начинателем и вождем которой был философ Нае Йонеску. Йонеску (как и многие в поколении 1927 года) испытал влияние различных идей, как локальных (юнимистов Майореску и Эминекску, национализма и пезанизма), так и западноевропейских — прежде всего заявивших о себе во Франции и в Германии.

ских фигур», как следует противодействовать нигилизму и антигуманизму (Szakolczai 2005).

Хотя между обществами в этом регионе существовали значительные различия (Чехословакия, сохранявшая приверженность принципам конституционной демократии на протяжении всех 1920-х годов, меньше всего вписывается в нашу схему), следует отметить, что стремление к замкнутости ярко заявляло о себе во всех указанных странах. Главная критика либерального проекта демократии, свобод, плюрализма и социальной дифференциации исходила, как известно, от фашизма и коммунизма. В этих доктринах просматривались все четыре вида замкнутости, обозначенные в начале нашей статьи. Идеологическая закрытость сказывалась в том, что и фашизм, и коммунизм не хотели признавать никаких соперничающих воззрений и во имя собственной безопасности обрушивались на любые рационально и научно обоснованные «нейтральные» системы взглядов. Другими словами, эти идеологии были нетерпимы ко множественности дискурсов и не позволяли своим адептам развернуто размышлять об общей легитимности принятого мировоззрения. Культурная замкнутость этих течений проявилась в том, что фашизм придавал абсолютное значение исторически сложившемуся этнокультурному сообществу, а коммунизм, несмотря на свое изначальное пренебрежение к вопросам национальной идентичности и национальной культуры (и их тривиализацию), стремился уничтожить, подчинить своим целям или инструментализировать любые культурные различия. Политическая замкнутость состоялась в том, что фашизм просто стер границу между государством и нацией, а коммунизм заявил о ведущей и определяющей роли своего авангарда — партии — во всех возможных политических процессах. Таким образом, на смену плюралистическому принципу образования политической среды пришел принцип «правлящей элиты», а преодоление разрыва между индивидом и государством, социальными группами и государством состояло просто в стирании всяких различий между своими и чужими устремлениями. А экономическая замкнутость сформировалась как ряд решений по ликвидации либеральной рыночной экономики и переходу на принцип самообеспечения. Главным фактором экономического развития теперь стало сильное централизованное государство (Chiot 1989).

ТРЕТЬЕ СТОЛКНОВЕНИЕ: ВАРИАЦИИ КОММУНИЗМА

Фашистские проекты, ведущие народы Центральной и Восточной Европы к тоталитаризму, в этом регионе оказались неспособны к структурному закреплению модернизации. Поэтому фашистская модернизация, даже если она учитывала некоторые требования современности, оказалась в целом слишком слабой, чтобы составить убедительную альтернативу либеральной модернизации западного образца. Вторая мировая война покончила с любыми местными проектами самостоятельного национального развития и включила весь этот регион в поле политико-экономической деятельности СССР. Коммунизм до некоторого времени действительно представлял собой альтернативу либеральной модернизации, особенно после того, как он избавился от своего изначального революционного запала, и еще более — когда приобрел более умеренные и рациональные черты после смерти Сталина (Arnason 1998: 163; Janos 2000). Мировоззренчески коммунизм ставил перед собой модернизационную задачу — целью коммунистической

политики было абсолютное переустройство социума, приближающее его к плану идеального общества. По удачному выражению Гаральда Выдры, «марксистская революционная теория отвергла западную модерность ради попытки ее осуществления» (Wydra 2007: 72).

Модернизационный характер советского проекта отрицать невозможно (см.: Agrason 2000), но так же несомненно, что даже после смерти Сталина советский режим оставался тоталитарным. Одна из причин, по которой мы считаем советский проект примером тоталитаризма, — его стремление одним махом разобраться с модерностью и укорененными в ней проблемами путем унификации общества на всех уровнях, где может проявиться дифференциация. Для этого советская власть всеми силами преуменьшала различие между государством и обществом и вводила политический культ партии и вождей, который должен был заменить любой религиозный культ (Wydra 2007). Конечно, в послесталинское время репрессии уменьшились, но при этом не произошло отказа от коммунистического проекта «бесконфликтного общества» и «нового человека», а угроза тоталитарного контроля по-прежнему распространялась на все общество и на каждого его члена. Говоря другими словами, ключевым представлением деятелей коммунизма была идея преодоления порожденных модернизацией дифференциации и отчуждения за счет полной перемены и унификации общества, а также тоталитарного «снятия» любых конфликтов (ср.: Walicki 1995). В этом смысле нетрудно доказать, что тоталитарный проект коммунизма был одной из попыток реализации полной закрытости. Если говорить об идеологической стороне дела, коммунизм ставил себя выше соперников, либерализма и фашизма, и заявлял притязания на высочайшую истину — истину истории. Эта якобы абсолютная истина собиралась из некоторых вырванных из контекста научных доводов, эволюционной концепции исторического развития и эсхатологической проповеди, заимствованной у христианства. Культурная закрытость состояла в устранении из разрешенной культуры всего «проблемного» и официальном навязывании универалистского понимания культуры как прогресса человечества. Хотя официальная культура частично и вобрала в себя (или допустила в ограниченной мере) национальные символы и местные исторические обычаи, никак не выведшиеся из марксистско-ленинского учения, эти «локалистские» элементы были превращены в инструмент влияния на массы или в средство поддержать пошатнувшуюся легитимацию режима (ср.: Janos 2000). Политически коммунизм был закрытым просто потому, что не допускал не только любой оппозиции, но даже малейшего «уклонения» от официально утвержденной линии. Оппозиционеры уничтожались как «враги народа», и борьба с «контрреволюционными силами» стала лучшим способом элиминировать чуждые политические модели. Партия, как революционный авангард, была объявлена хранителем всего политического знания, которому приписывался некий возвышенный характер. А экономическая замкнутость коммунизма сказалась в устройстве экономики как самодостаточного локального «хозяйственного целого», для чего потребовалось воспроизвести у себя западную бюрократизацию и индустриализацию, разделить регионы по принципу распределения трудовых обязанностей.

Перенос советской модели в Центральную и Восточную Европу несколько сдержал наиболее последовательные тенденции коммунистического проекта к замкнутости. В Венгрии и Польше, а также в Чехословакии советизация никогда не была полной, и там продолжали существовать

традиции, оспаривающие коммунистическую идеологию. Так, в Польше всегда было много сторонников патриотического движения, ратовавших за возрождение польской нации; в 1980-е годы они влились в ряды диссидентов из Комитета социальной защиты и профсоюза «Солидарность». В Венгрии насильственное прерывание попытки построить «социализм с человеческим лицом» в 1956 году также напомнило, что альтернативой советскому проекту может стать национальное движение. Хотя сторонники национальных форм развития и были подавлены после восстания 1956 года, их идеи продолжали оказывать влияние на все слои венгерского общества, став символом открытости и противостояния тоталитарному режиму. В Чехословакии коммунистическое движение было весьма массовым и сильным еще до войны, но именно поэтому всегда существовали трения между ним и центральным советским руководством. После того как инициатива коммунистического обновления была раздавлена гусеницами советских танков в 1968 году, в обществе все более популярными начали становиться демократические взгляды, и в 1970-е они уже воспринимались многими людьми как естественные. В большинстве коммунистических стран 1970—1980-е годы стали временем оживления диссидентского движения, которое в тоталитарном обществе нарушало видимое единство публичного пространства простым противопоставлением своей неформальной открытости официальной закрытости.

Но существовали и другие, вполне оригинальные, отклонения от изначального советского проекта — прежде всего мы говорим об Албании, Югославии и Румынии. Когда в Румынии в 1965 году к власти пришел Чаушеску, это означало — хотя вполне очевидно стало позднее — приобретение местным коммунизмом изоляционистской окраски (черты национализма тут просматривались уже ранее). Изоляционистская тяга выявилась в культе личности и чрезмерном радикализме во имя достижения идеологической и культурно-политической замкнутости. Агрессивное нарастание тоталитарных черт в конце 1970-х годов включало в себя попытки переписать национальную историю по канонам коммунистического национализма в духе «протохронизма», равно как и стремление сделать Румынию полностью независимой экономически. Начало этому положил уже Георгиу-Деж, заявивший, что Румыния не должна играть роль сельскохозяйственной периферии в Совете экономической взаимопомощи.

ЧЕТВЕРТОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЛИБЕРАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ?

Конец коммунистического проекта альтернативной модернизации в 1989—1991 годы приветствовался всеми как возвращение огромного региона к «нормальной жизни», то есть к пути западноевропейской модернизации. Умами людей завладела идея, будто сама история доказала ошибочность всех альтернатив либерализму и будто только либеральная модернизация является единственно правильной и бесспорной. Большинство государств Центральной и Восточной Европы включились в процессы западной модернизации и преуспели в этом, что символически выразилось в принятии десяти из них в состав Европейского союза.

Но теперь мы видим, что «революции» 1989 года и конец коммунизма нельзя понимать упрощенно, как возвращение с ложного пути в гостеприимные объятия западной модерности. Конечно, падение коммунистического

режима способствовало установлению принципа открытости во всех сферах (идеологической, культурной, политической и экономической) и стимулировало рост культурных взаимодействий между Западной и Восточной Европой и скорейшую адаптацию западных моделей социально-экономической жизни. Но и сам либеральный нарратив конца холодной войны мы вполне можем рассматривать как своеобразную форму интеллектуальной закрытости. Исследуя специфические процессы становления либеральных демократий в этом регионе, Выдра недавно точно заметил, что «теории демократической консолидации, приобретающей безальтернативный статус, придали репрезентации “либеральной” демократии тотальный характер» (Wydra 2007: 2). Доминирующий и претендующий на единственность модус самосознания посткоммунистических обществ — это либеральный нарратив «нормализации» и «возвращения в Европу». Эта линия исторического метаповествования, принятая всеми либеральными элитами региона, включает в себя идею неуклонного развития, роста степени «открытости общества», равно как и требование все большей причастности к основам европейской цивилизации.

Но такой либеральный нарратив проблематичен по ряду пунктов. Прежде всего, как уже было сказано, заполнение либеральным нарративом всей сферы идеологических, политических, культурных и даже экономических решений приводит к забвению или маргинализации всех альтернативных интерпретаций модерности, модернизации и идентичности, которые сыграли важную роль в победах 1989 года. Например, если говорить о демократических моделях, обслуживающих их дискурсах и вообще о культуре демократии, нетрудно заметить, что демократизация после 1989 года сопровождалась появлением множества интерпретаций демократии, частью восходящих к перипетиям прошлого, и поэтому нельзя говорить о стопроцентном восприятии политическими элитами и простыми гражданами либерализма из учебников (ср.: Blokker, в печати). Нарратив открытого либерального общества только частично соответствует реальности, поскольку единая по характеру модернизация не может не иметь дела с грузом прошлого и вдобавок испытывает влияние различных нарративов переходного периода. Голоса несогласных были маргинализованы, но не исчезли; и пути прошлого несколько не слабеют. Например, хотя в Польше наследие «Солидарности» часто считается несовместимым с принципами либеральной демократии, а влияние идей этого профсоюзного движения после 1989 года сошло на нет (прежде всего из-за ухода связанных с «Солидарностью» диссидентов с политической арены), нетрудно заметить, что сам исторический символ «Солидарности» продолжает играть важнейшую роль в политике. К этому образу как к славной части истории обращаются политические деятели, которым нужно оправдать свои действия или повысить собственную репутацию (Cirtautas 1997). Одновременно в той же Польше традиционное либеральное понимание демократии атакуется со стороны религиозных и националистических кругов, предпочитающих «соборное» (communitarian) понимание демократии и даже пытающихся по-новому определить идеалы Европейского союза. В случае Румынии открытость этого общества после 1989 года не препятствовала установлению весьма ограниченной демократии: несмотря на пламенное стремление отречься от мрачных сторон прошлого, в Румынии наблюдается самая высокая среди бывших социалистических стран степень преемственности политической элиты, а старая национал-коммунистическая идеология продолжается в современной национальной риторике. Правда, в 2000-е годы в Румынии стал

набирать силу социал-демократический дискурс, отличающийся большей открытостью, и даже обозначился либеральный дискурс прав и свобод, в том числе в спорах вокруг конституции. Эти обстоятельства заставили скорректировать фаталистический взгляд на современный путь развития Румынии (Blokker, в печати).

Не менее очевидно, что в последние годы существования коммунизма в некоторых странах (Чехословакия, Венгрия, Польша) снизу раздавались требования открытости, а сверху были даны некоторые послабления. В рамках этих процессов «права человека» и «аутентичность» стали трактоваться несколько иначе, чем в либеральной демократии. Хотя этот «перестроечный» дискурс и был в 1990-е годы маргинализован в политике, нельзя недооценивать общего значения диссидентства в создании альтернативных версий современности. Диссиденты смогли по-своему понять, что такое политическая модерность и как выглядит современное общество, а также сделать само несогласие одной из форм политической деятельности. Последовавшее потом ограничение либеральной демократии с целью реализации полноценной модели «открытого общества» показывает, что нельзя поставить знак равенства между либеральной демократией и всем спектром представлений о демократии. А значит, и сейчас либеральный взгляд на сущность открытого общества может быть раскритикован со стороны бывших диссидентов, скрытых сторонников «антиполитической политики».

Наконец, и это можно показать на огромном числе примеров, главным событием политической жизни в этом регионе стало «двойное возвращение» национализма и религии. Многие аналитики пытались объяснить это возвращение двух векторов, которые, казалось бы, давно перестали быть частью большой политики, недоверием к идеалам «открытого» общества и вековым влиянием закрытости в этом регионе. Однако, на наш взгляд, возрождение национальных чувств и религии, которые подвергались постоянным репрессиям при коммунистической власти, лучше понимать как своеобразную критику амбициозных нарративов либерализма и европеизма. Сторонники национально-религиозного возрождения тоскуют о потере местной автономии, сетуют на новую социальную дифференциацию, возмущаются истреблением локальных традиций, прежде всего традиций социального сотрудничества. Заметим, что эти оппоненты либерализма вовсе не настаивают на возвращении жестких форм закрытости, если, конечно, они не захвачены крайне правой популистской демагогией.

Возвращение национальной и религиозной идентичности показывает, что сам секулярный нарратив модерности чреват некоторыми противоречиями. Попытка восстановить национальное государство, опираясь на принципы национальной и религиозной идентичности, не может быть сведена только к противодействию происходящим переменам (можно вспомнить, что в Венгрии и в Польше национализм был важной составляющей диссидентского движения 1980-х годов). Скорее эти стремления должны пониматься как ответ, исходя из уже имеющегося опыта, на напряженную ситуацию, в которой оказалась сама модерность. Очень показательный пример — упор на интеграцию каждой нации был во многом вызван вхождением этих наций в состав Европейского союза (ср.: Priban 2007).

Подвести итог сказанному можно так. Пороговый характер посткоммунистических трансформаций спровоцировал различные «ответы», которые компенсируют чувство неопределенности и подавляют страх от потери идентичности. Некоторые из этих ответов весьма близки к господствующе-

му универсалистскому нарративу европейскости и либеральной демократии, тогда как другие черпают свое содержание из локальных традиций и идентичности. Таким образом, можно сказать, что единого понимания модерности в современной Центральной и Восточной Европе не сложилось.

ИТОГОВЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Такой сжатый и беглый обзор того, как был реализован вызов модерности в Центральной и Восточной Европе, конечно, не может объяснить всех неувязок в истории либеральной демократии в этом регионе. Но, во всяком случае, мы можем скорректировать наши взгляды на сущность политики в данном локусе и не считать, что модерность и формы «открытого» общества вообще были принесены в регион извне (напротив, здесь наблюдается много версий демократии, в большей или меньшей мере отступающих от западноевропейского идеала) или что опыт модерности здесь всегда компромиссен из-за повсеместной тяги местных народов к закрытости в виде этнического национализма и даже тоталитаризма.

Я надеюсь, читателю статьи стало ясно, что судьба модернизации в этом регионе обязана тому, что здесь трудно разнести в пространстве и во времени идею открытости и идею закрытости. Открытость декларировали те движения, которые стремились создать автономное общество, не зависящее от законов чуждой ему империи, и для этого призывали к гражданской инклюзивности (включению многих наций в то или иное гражданское общество), публичности в политике и полномерному участию всех в жизни общества. Такие освободительные движения возникали много раз начиная с XIX века, когда четко обозначилось стремление к национальному суверенитету как выходу из-под власти наднациональных империй. И, как известно, эти вполне самобытные политические проекты, приверженные принципам открытости, сыграли значительную роль в сопротивлении коммунистическому тоталитаризму, и их значение вовсе не сводится к заимствованию и воспроизведению западного дискурса прав и свобод. Так, в Венгрии, Чехословакии и Польше был создан вполне оригинальный (хотя и переливающийся разными оттенками) диссидентский дискурс «жизни не по лжи», протеста и самоограничения. В событиях 1989 года такие дискурсы были уже не так значимы, в сравнении с общеевропейскими процессами, но из этого нельзя делать вывод, что демократизация и учреждение открытости в странах этого ареала были просто односторонним выполнением либерально-демократических задач, заданных Западной Европой. Напротив, различия в демократическом устройстве в странах Центральной и Восточной Европы говорят о влиянии разных дискурсов демократии и о вариативности политической культуры.

Тенденция к созданию закрытого общества дала о себе знать прежде всего в период между двумя мировыми войнами, когда в этом регионе формировались национальные государства. Элиты этих молодых государств с презрением смотрели на либеральную демократию, считая ее очень слабым орудием общественных преобразований. Они полагали, что либеральная демократия не сможет защитить свободу народов, и поддерживали воинственное национальное самосознание, которое должно привлечь к политической активности пассивное большинство общества, прежде всего крестьянство. Крайней формой замкнутости стали фашизм и коммунизм: эти проекты разрабатывались как радикальный способ решения всех современных

проблем, связанных с демократическим управлением инклюзивным (многонациональным) государством.

Падение коммунизма покончило с радикализмом тоталитарного понимания политической модерности в Центральной и Восточной Европе. Все попытки учреждения «открытого» общества в этом регионе после 1989 года спотыкались о противоречивое сочетание стремлений к открытости и закрытости. Хотя лидеры государств Центральной и Восточной Европы и заявляли о том, что на их глазах произошел триумф либеральной демократии, мы сейчас имеем полное право в этом усомниться. Но хотя кризис демократии во всем регионе очевиден, возвращение к сугубо замкнутому авторитарному обществу кажется нам невероятным.

Мы хотим завершить наш разговор простым наблюдением. Хотя опыт модернизации и «отладки» открытых демократических обществ в странах Центральной и Восточной Европы не может претендовать на то, чтобы стать серьезной альтернативой западной модерности и демократии и хотя политическую историю этого региона следует понимать не как оригинальный путь, а как цепь более удачных (хотя бы частично осуществленных) и менее удачных (отброшенных) модернизационных проектов, нельзя говорить, что демократия принесена в эту часть Европы извне и что ее развитие здесь, «на местах», представляет собой отход от нормы, искажение идеалов и принципов, свидетельствующие о приверженности населения организованной тоталитарной модерности. Напротив, как показывает весь спектр демократических преобразований после 1989 года, опыт Восточной Европы — это опыт парадоксального совмещения внутреннего тяготения к открытости и встречного стремления к закрытости.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Antohi 2002 — *Antohi S.* Romania and the Balkans: From Geocultural Bovarism to Ethnic Ontology // *Transit*. 2002. Vol. 21. (http://www.iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=235&Itemid=411).
- Arnason 1998 — *Arnason J.* Totalitarianism and modernity. Franz Borkenau's "Totalitarian Enemy" as a source of sociological theorising on totalitarianism // *The totalitarian paradigm after the end of communism. Towards a theoretical reassessment* / A. Siegel (Ed.). Amsterdam: Atlanta, 1998. P. 151–179.
- Arnason 2000 — *Arnason J.* Communism and Modernity // *Thesis Eleven*. 2000. Vol. 12. № 1. P. 61–90.
- Arnason 2003 — *Arnason J.* Sociology, Critique and Modernity: Views Across the European Divide // *Comparative Sociology*. 2003. Vol. 2. № 3. P. 441–461.
- Arnason 2005 — *Arnason J.* Alternating Modernities. The Case of Czechoslovakia // *European Journal of Social Theory*. 2005. Vol. 8. № 4. P. 435–451.
- Barkey 2000 — *Barkey K.* Negotiated Paths to Nationhood: a Comparison of Hungary and Romania in the Early Twentieth Century // *East European Politics and Societies*. 2000. Vol. 14. P. 497–531.
- Blokker 2009 — Multiple Democracies in Europe. Political Culture in New Member States. London; New York: Routledge, 2009 (в печати).
- Blokker, Delanty 2009 — *Blokker P., Delanty G.* Interview with Johann Arnason // *European Journal of A.*, 1997.
- Cirtautas A. — *Cirtautas A.* The Polish solidarity movement: revolution, democracy and natural rights. London; New York: Routledge, 1997.

- Chirot 1989 — *Chirot D.* Ideology, Reality, and Competing Models of Development in Eastern Europe Between the Two World Wars // East European Politics and Societies. 2003. Vol. 3. № 3. P. 378–411.
- Dobrescu 2003 — *Dobrescu C.* Conflict and Diversity in East European Nationalism, on the Basis of a Romanian Case Study // East European Politics and Societies. 1999. Vol. 17. № 3. P. 393–414.
- Eisenstadt 1999 — *Eisenstadt S.* Fundamentalism, sectarianism, and revolution: the Jacobin dimension of modernity. Cambridge, U.K.; New York: Cambridge University Press, 1999.
- Harsanyi, Kennedy 1995 — *Harsanyi N., Kennedy M.D.* Between Utopia to Dystopia: The Labilities of Nationalism in Eastern Europe // Envisioning Eastern Europe. Postcommunist Cultural Studies / M.D. Kennedy (Ed.). Ann Arbor: Michigan University Press, 1995. P. 149–179.
- Janos 2000 — *Janos A.* East Central Europe in the modern world: the politics of the borderlands from pre- to postcommunism. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2000.
- Keenan 2003 — *Keenan A.* Democracy in Question: Democratic Openness in a Time of Political Closure. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2003.
- Kubik 2003 — *Kubik J.* Cultural legacies of state socialism. History making and cultural-political entrepreneurship in postcommunist Poland and Russia // Capitalism and democracy in Central and Eastern Europe. Assessing the legacy of Communist rule / G. Ekiert and S.E. Hanson (Eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 317–351.
- Laignel-Lavastine 2008 [2002] — *Laignel-Lavastine A.* Il fascismo rimosso: Cioran, Eliade, Ionesco. Tre intellettuali rumeni nella bufera del secolo, [Cioran, Eliade, Ionesco: l'oubli du fascisme]. Torino: UTET, 2008. [Ленель-Лавастин А. Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран / Пер. Е. Островской. М.: Прогресс-Традиция, 2007.]
- Ludwikowski 1981 — *Ludwikowski R.R.* Liberal Traditions in Polish Political Thought // The Journal of Libertarian Studies. 1981. Vol. 3. P. 255–261.
- Priban 2007 — *Priban J.* Legal symbolism: on law, time and European identity. Aldershot, England; Burlington, VT: Ashgate, 2007.
- Schöpflin 1990 — *Schöpflin G.* The Political Traditions of Eastern Europe // Daedalus. 1990. Vol. 119. № 1. P. 55–90.
- Szacki 1995 — *Szacki J.* Liberalism after communism. Budapest; New York: Central European University Press, 1995.
- Szokolczai 2005 — *Szokolczai A.* Moving Beyond the Sophists: Intellectuals in East Central Europe and the Return of Transcendence // European Journal of Social Theory. 2005. Vol. 8. № 4. P. 417–433.
- Sztompka 1993 — *Sztompka P.* Civilizational Incompetence: The Trap of Post-Communist Societies // Zeitschrift für Soziologie. April 1993. № 2. S. 85–89.
- Todorova 2005 — *Todorova M.* The Trap of Backwardness: Modernity, Temporality, and the Study of Eastern European Nationalism // Slavic Review. 2005. Vol. 64. № 1. P. 140–164.
- Wagner 1994 — *Wagner P.* A Sociology of Modernity. Liberty and Discipline. London; New York: Routledge, 1994.
- Walicki 1982 — *Walicki A.* Philosophy and romantic nationalism: the case of Poland. Oxford: Clarendon Press, 1982.
- Walicki 1995 — *Walicki A.* Marxism and the leap to the kingdom of freedom. Stanford: Stanford University Press.
- Wydra 2007 — *Wydra H.* Communism and the emergence of democracy. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2007.

Пер. с англ. А. Маркова